

„ПОДВОРЬЕ ПРОКАЖЕННЫХ“¹

[257]

На всех афишах и на множестве каталогов стоит у нас теперь: „*Первая международная выставка*“. Ах, какой ужас! Неужели и в самом деле эта выставка будет *первая и не последняя*? Есть с чем поздравить нас! Да ведь это просто ужасно!

Читали вы великое создание великого писателя нашего века Виктора Гюго, роман: „Собор парижской богоматери“? Конечно, читали. А помните вы там одну великолепную главу, где описывается „Подворье прокаженных“ (*La cour des miracles*)? Это ряд блестящих страниц, где со всегдашним своим талантом Виктор Гюго рисует то, что было четыреста пятьдесят лет тому назад в Париже. Вообразите же себе, что это самое повторяется теперь у нас здесь, в Петербурге.

Мне кажется, каждый, кто помнит роман Виктора Гюго и попадет вдруг на выставку декадентов в музее Штиглица, тот подумает про себя, что он тоже тот юноша, Пьер Гренгуар, который попал в „*Cour des miracles*“. Пьер Гренгуар увидал сначала на улице „папу шутов“ с его безобразной процессией — и его удивление было уже громадно; но каково же оно стало, когда он вступил в „Подворье прокаженных“!

„По мере того, как он углублялся в переулок, вокруг него, точно из земли, выростали слепые, безногие, хромые, безрукие, кривоглазые и прокаженные, с отвратительными язвами. Все это выползло на улицу, кто из домов, кто из отдушин подвалов, все это ревели, мычали, вопило и, ковыляя, устремлялось вперед, толкаясь и валяясь в грязи, точно улитки после дождя... Гренгуар подвигался среди этой толпы, обходя хромых, шагая через безногих, и то и дело увязая ногами в кипевшем вокруг него муравейнике калек, подобно тому капитану английского судна, который набрел на стадо крабов...“

Кто нынче очутится вдруг в зале Штиглицевского музея, почувствует то же самое, что во время оно старинный француз. Вокруг него стоит какой-то дикий вопль и стон, рев и мычанье; надо шагать через копошащихся повсюду

¹ В.В. Стасов, *Избранные сочинения в трех томах*, т.3 (Москва: Искусство, 1952), стр. 257-63.

крабов, уродов, калек, всяческую гнилятину и нечисть. Она всюду цепляется за его ноги, руки, за его фалды и глаза, мучит и терзает мозг, оглушает и мутит дух. И еще какое счастье было Пьеру Гренгуару: вся сволочь „Cour des miracles” порешила покончить с ним вдосталь, затеяла просто и начисто повесить его сейчас же, тут же, даже принялась за это любезное развлечение...

[258]

Только появление милой, чистой, прелестной Эсмеральды спасло его, и он, наконец, снова счастливо вздохнул, — но нам-то, нам-то какая прелестная, чистая, милая Эсмеральда явится на выручку, кто нас спасет из гнезда крабов, уродов и калек, кто вырвет нас из их противных клешней?

И этому ужасу предстоит еще повторяться? И это еще только *первая* выставка, нам на мученье и страданье, выставка нравственной слизи и липкой художественной грязи? И всему этому предстоит еще повторяться неопределенное число раз, целую, пожалуй, вечность?

О ужас, о бедствие, о бедные мы!

А ведь, пожалуй, как раз так и будет.

У наших декадентов есть староста, „декадентский староста”, свой „rare des fous”, которого тоже, как там, пожалуй, пронесут „на носилках, под деревцом, разубранным цветами и восковыми свечами”, или провезут „на низенькой тележке, запряженной двумя собаками”, с позолоченным сусальным жезлом в руках!

„Rare des fous” всегда цепок и поворотлив, знает куда кланяться и куда улыбаться, кого просить и уговаривать, кого морочить, кого совращать.

Бывает иной раз и в переулках со слякотью праздник у юродивых и у крабов!

Уже и в прошлом году была безобразная выставка в зале Штиглица. Но нынешняя, мне кажется, превзошла ту. Теперь и своих и чужих калек прибавилось. Староста постарался. Правда, нет нынче перед нашими глазами того невообразимого холста г. Врубеля, который так больно хлестнул по всем глазам и по всем мозгам, но который все-таки нашел себе сочувственных покупателей, т. е. пособников и поощрителен, но ведь зато сколько осталось всего в прошлогоднем же роде, да еще с добрыми новыми прибавками!

Разве г. Галена и других безобразных финляндцев нет теперь более перед

нашими глазами? Разве его „Отцеубийца”, его „Мечь Юкагайнена” уступят хоть на единую йоту его „Защите Сампо”, его „Матери Лемминкейнена”? И тут и там — все одна и та же безвкусная, неуклюжая, мужицкая, коричнево-пряничная живопись. Разве его нынешний „Портрет” уступит его тогдашним двум? И тут и там — все одна и та же деревянность, жесткость, костяная мертвенность. Разве его невообразимые массы мела и всякой безобразной грязи, накиданной на холст (и все это называется „Зимний этюд” и „Музыка воды”), разве они уступят его тогдашним „Иматре” и „Закату”? Разве нынешний „Портрет” г. Иернефельта уступит в сухости и деревянности прошлогоднему „Полуденному отдыху” (мальчишки-раскоряки) и „Зеленым островкам”? Даже сам талантливый Эдельфельт нынче не в авантаже. В прошлом году у Эдельфельта была только одна плохая картина: „Магдалина перед Христом” — что-то чухонское, косноязычное, сентиментальное и жеманное, но зато была тоже и одна хорошая картина: „Похороны ребенка”—лодка на воде (сочинение в стиле Вотье), и, сверх того, одна превосходная картина: „Прачки”, блиставшая естественностью, правдой, простотой, красотой сочинения, форм и тонов; нынче не было ни одной картины, равняющейся „Прачкам”, и лишь „Финские рыбаки” напоминали настоящего Эдель-

[259]

фельта по правде и верности, — но эти три профиля, и всего только до пояса, были лишь этюды, хорошо написанные для будущей какой-нибудь картины. Про других финляндцев, подражателей и копиистов с французского, уже и говорить нечего. Лучше посмотрим на самих оригиналов французов.

Выбор „декадентского старосты” был тут, по-всегдашнему, печален. Нам вдруг показывают такие непозволительные, такие нестерпимые вещи, как эскизы Пювис де Шаваня, картины Дегаса, портреты Бенара. И в доказательство их высокого значения выставляют цены: за вещи Пювис де Шаваня — шестнадцать тысяч пятьсот рублей, десять тысяч двести рублей; за вещи Дегаса — сорок тысяч рублей, четырнадцать тысяч четыреста рублей; за вещи Бенара — семь тысяч пятьсот рублей. Какой позор! какой стыд! И не совестно г. старосте со всеми его приспешниками и попустителями? Да ведь сочинение Пювис де Шаваня — это чистейшая академия и мертвечина, совершеннейшее бездушное производство Пуссена, блаженной памяти! Да ведь картины Дегаса

— это всего только уродливые с головы до ног балетные танцовщицы, сидящие и стоящие, с безобразно раздвинутыми и нелепо нарисованными ногами, руками и туловищами, или совершенно ничего не значащие, ничтожные массы жокеев на лощеных лошадях! (Его же картинка „Возвращение жокеев со скачек” гораздо лучше написана, хотя гораздо меньше стоит.) Да ведь рыжие портреты Бенара — это отвратительные фигуры каких-то женщин, отвратительно написанные и отталкивающие от себя всякого не только своими лицами и физиономиями, но даже каждой складкой своего противного платья. Должно быть, что это -не для нас одних, но и для всех *так*, коль скоро все эти вещи, вон сколько времени прошло, а никем в Париже не покупаются, так что уже к нам, русским дурачкам, приходится посылать, авось сдуру купят, благо выставлены цены шальные!

Больдини — один из модных расхожих портретистов в Париже, но три его портрета, выставленные нынче в зале Штиглица, представляют его в самом плачевном виде. Позы его фигур всегда вычурны и вместе бедны, на нынешний же раз, вдобавок к тому, поражают отсутствием изобретательности. Что английский живописец Уистлер, что французская г-жа П. — все одно и то же: и он, и она уперлись поднятыми руками к себе в голову, и лицо с глазами выпячиваются оттуда на зрителя. Колорит — жидкий и страшно неприятный. Группа „Прогулка”, изображающая подгулявшего французского буржуа между двух каких-то баб, — отчаянно груба и банальна. Живописец Бланш предлагает за одиннадцать тысяч рублей портрет норвежца Таулоу с его семьей, но это только обезьянничанье с Рубенса, не достигающее своей цели. Бутэ де Монвель представил „Этюды детей”, мертво нарисованных и тоще раскрашенных; Фредерик Леон представил двадцать рисунков углем и пять панно масляными красками: первые называются „Труд” и изображают разные сельские и иные работы, вторые называются „Природа” и изображают голого мальчика среди всяческой летней растительности, соломы и цветов; все вместе стоят свыше одиннадцати тысяч рублей, но до того бездарны по сочинению, рисунку и краскам, что каждый посетитель выставки с негодованием утекает поскорее мимо.

[260]

Картины давно, по всей справедливости, известных французов Лермитта,

Даньян-Бувере и Раффаэлли вовсе не дают понятия о творчестве и работах этих замечательных, талантливых реалистов. Одни из них слабы, другие посредственны на нынешней выставке. Их плохо выбрали.

Из англичан Уистлер представлен всего двумя небольшими холстами: „Девочка в голубом” и „Марина”, но обе так бесцветны и ничтожны, что никто, без подписи, никогда бы не догадался, что перед его глазами вещи того Уистлера, который так знаменит своим колоритом! Стоило ли везти так издалека такие ничтожества? Есть тоже на выставке одно знаменитое имя: Бёклин. Но что за Бёклин! Такой, который ничего не стоит. Ужасно посредствен, чтобы не сказать: просто плох. Сюжет — известно, какие всегда сюжеты у Бёклина: „Центавр”, напавший на молодую женщину и старающийся овладеть ею. Ну, да хоть бы написано было блестящим манером, побёклиновски! Куда! И помина нет.

Ленбах с двумя портретами (один из них, разумеется, портрет Бисмарка: без лица обожаемого им Бисмарка Ленбах уже давно и жить не может, не в состоянии двинуть кистью), но эти два портрета, как и те, что появлялись на прошлогодней выставке у декадентов, не проявили никаких своеобразных, самостоятельных, обращающих на себя внимание качеств.

Либерман имеет на выставке картину с необыкновенным, всегдашним своим световым эффектом: солнечные лучи, упавшие золотыми пятнами на песок и листву древесную, но этот эффект уже значительно приелся, так много раз он повторялся у Либермана; притом эта картина не из лучших у него, хотя цена выставлена изрядная: четыре тысячи пятьсот рублей.

Таков главный состав иностранного контингента. Он слаб, он не интересен. Кто таким способом выбирал выставку, доказал только свое неумение и безвкусию. Кажется, для этого человека всего более нужны были имена, а не вещи. Но кто не видал настоящих, замечательных картин современных иностранных художников, будет только введен в заблуждение и больше ничего. Он вовсе ничего не узнает про иностранное искусство или, что еще того хуже, получит понятие самое фальшивое. Но кто не понимает, как и что выбирать, лучше бы ему, кажется, в это дело и не мешаться. Неужто же благодарить за сведения кривые и косые?

Но вот что печально. Оказываются сторонники иностранного отдела выставки и ее несчастных выборов, сторонники, которые пробуют защитить все

то, что на ней есть худого, слабого, ложного, беспутного. Один из наших художественных критиков, из породы „пачкунов”, пытается уверить читателей, что на выставке есть иностранные вещи не только замечательные, но — хорошие и даже — великолепные. Вот-то притча!

И кого же он выдвигает при этом на первый план?

Выдвигает вдруг — Бёклина! И каким способом? Тем, что сначала объявляет, что Бёклин не блеснул, правда, ни рисунком, ни колоритом, но зато „воскресил жизнь центавров, сирен, сатиров, нимф и проч... Фантазия художников вновь разыгралась...” И это, значит, заслуга: воскрешать глупости и всяческий вздор несуразный?! Сатиры и цен-

[261]

тавы должны разыгрывать фантазию художника, да зараз и нашу! Но разве это возможно? А если даже и возможно, то куда же это годится? К чему же мы учимся, читаем, думаем, беседуем друг с другом, стараемся повысить себя и других, и все это для того, чтобы, в конце концов, по части искусства с ума сходить от центавров и фавнов, обнимающих женщин! Ничего нет поважнее, подельнее и поинтереснее! Какой срам, какой стыд!

Но ведь „пачкуны” обыкновенно считают, что „реализм” есть что-то грубое, непристойное, незаконное, недолжное, что-то такое, что надо гнать и стереть с лица земли. Другими словами, это все та самая прискорбная точка зрения, тот самый плачевный образ мыслей, которые существовали у нас пятьдесят-шестьдесят лет тому назад и заставляли несчастных Булгаринных, Гречей и Сенковских презирать и гнать Гоголя, его „Ревизора”, его „Мертвые души” и вообще все великие создания русского гения. Но мне кажется, довольно указать на такой факт. Всякие другие слова — лишние. „Пачкуны” могут плевать, если им угодно, вместе с декадентами на то наше искусство, которое всегда брало одну и ту же ноту правды и реализма с Пушкиным, Грибоедовым, Гоголем, Тургеневым, Островским, Достоевским, наконец, с Львом Толстым, — они могут плевать, если им угодно, но от этого дело ни на единую йоту не переменится, и мы, русские, все-таки останемся верными сторонниками и поклонниками того, что русский талант и гений создали великого и несокрушимого, — картин Репина, Верещагина, Вл. Маковского, Сурикова и лучших их товарищей.

На нынешней „международной” выставке (впрочем, вовсе не заслуживающей такого большого заглавия) русское искусство не играло, конечно, хоть сколько-нибудь значительной роли. Ведь тут присутствовали, почти повально, все только картины одних русских декадентов, а между ними нет покуда ни одного замечательного художника. Они все только говорят, и обещаются, и указывают вдаль, в темный горизонт будущего, но сами покуда не произвели ни одной картины или картинки, даже ни одной черточки, которая свидетельствовала бы об их таланте или даже просто способности. Все только слова, слова и слова.

Есть, правда, на выставке, по какой-то странности несколько произведений русских художников, *не декадентов*, и потому их надо выделить в особую группу. Это: Репин, Серов и Левитан. Но на этот раз картины этих замечательных русских художников — одни недостаточны, другие неудовлетворительны, и потому я считаю за лучшее о них промолчать.

На выставке нет, правда, как я уже сказал, картин г. Врубеля вроде прошлогоднего громадного панно „Утро”, и это уже большой выигрыш. [Ведь могли же бы, может быть, появиться на выставке те ужаснейшие скульптурные кривляки, которые напечатаны в пятом выпуске декадентского журнала „Мир искусства” (зараз с кривляками и безобразниками и безобразницами нестерпимого французского декадента Ф. Ропса) и названы „готическими скульптурами” для чьей-то лестницы в Москве — а такие скульптуры стоят доброго панно „Утро”].

[262]

Затем следуют прочие наши декаденты и декадентики, кто с портретами в красках или в карандаше, кто с набросками и эскизами. И как все это неважно, как скудно, как робко, как ограничено! Все это только глуповато по содержанию, плоховато по исполнению. Все, что хотите, тут есть, и худое, и посредственное, и сносное, и гадкое, только композиций, созданий — вот этого нет ни единой черточки, ни единой точки нет. Вот как они сильны, вот какою громадною массою художественных сил они обладают, чтобы произвести обещаемый, возвещаемый ими *переворот!* Финляндцы, каковы они ни есть декаденты, а все будут похрабрее. Целые картины, композиции пишут. Наши

декаденты — и не думают, просто, кажется, не смеют.

Всех этих Бакстов, Бенуа, Боткиных, Сомовых, Малютиных, Головиных с их безобразиями и разбирать-то не стоит. Они отталкивают от себя здорового человека, как старинные парижские „прокаженные” бедного Пьера Гренгуара.

Но едва ли не всего хуже — иные из этюдов и набросков г-жи Якунчиковой. Ее картинка „Чехлы” — просто скандал! Недалеко от нее ушли также „Церковь старой усадьбы” и „Монастырские ворота”. Можно принять их все за насмешку над зрителем. Раскрашенная же ее резьба из дерева: „Игрушечный пейзаж”, „Рябина”, „Елочка с осинкой” — какая-то дикая азиатчина!

Немало способны удивлять также мозаики из речных камней, представленные В. Д. Поленовым! Какая странность! Поленов был такой замечательный художник, и вдруг — занимается такими игрушками, как эти мозаики, совершенное подобие старинных (когда-то) дамских вышивок бисером, над которыми так усердно смеялся еще Гоголь!

Особливый отдел выставки составляют вышивки по холсту и рисунки для них по композициям Е. Д. Поленовой (покойной) и Н. Я. Давыдовой. Эти вышивки назначены для стен, столов, подушек, окон, портьер и т. д. Подобные украшения вышивками существовали и в древней Руси, и существуют до сих пор в крестьянских домах некоторых полос России. Они бывают часто превосходные, очень разнообразные, очень интересные. Образцы этого дела, старого и новейшего производства, можно видеть в собрании Н. Л. Шабельской, в Москве. Вместе со своими дочерьми и другими помощницами Н. Л. еще и теперь создает много превосходных подобного рода вещей в национальном русском духе. Но те работы, которые помещены нынче на выставке в зале Штиглица, принадлежат к совершенно другому роду: все тут во вкусе декадентском. Многие из них, достаточно нелепые и безвкусные, напечатаны в № 5 журнала „Мир искусства”. К этому вкусу Е. Д. Поленова стала склоняться лишь в последние годы своей жизни, и только рисунки этого рода представляют (к моему великому горю!) ее деятельность на нынешний раз. Они очень слабы и неудовлетворительны, и поэтому можно жалеть, что нет на выставке рисунков и сочинений Е. Д. Поленовой из прежних периодов ее жизни — рисунков очень талантливых и высокозамечательных. О них у меня еще речь будет впереди. К

сожалению, среди нашей публики (а особенно

[263]

из так называемых „высших классов” ее) нашлось немало любителей именно всяческих декадентских узоров, и они поспешили раскупить почти все вышивки нынешней выставки. Можно об этом жалеть, но удивляться — нечему. Люди, мало образованные в художественном отношении, всегда падки на все то, что в искусстве похуже, что банально, что плоско, что нелепо. Только было бы „новенькое”. „Хоть на пять минут, да новенькое! А потом бросим!” Ну, тут разбора и смысла уже не жди никакого!

Ведь на то „подворье прокаженных” именно и есть!

1899 г.